

В осенних сумерках поленья из-под колуна разлетались алебастровыми всплесками, как взмыл волны из-под весла. Но сначала был удар. Негромкий, тупой. Дрова были сыроваты. Лезвие вязло в косом спиле, бортами вспенивая выступающую влагу. Звук удара ничего не мог сказать Ефиму. Он не слышал звука. И дерева. Звук дерева. Был глух. Он и сиплое дыхание своё слышал ровно наполовину. На ту половину, что пока ещё внутри. Всё, что было по другую сторону рта — исчезало.

Чёрной тенью пролетел ворон. Ефим и его не слышал. Но ворон пролетел над самой головой, обдав эхом взмаха. Такой отголосок бывает у большой птицы. А из больших, по осени, одно воронье оставалось в деревенской округе. Залетало на поживу.

Птица села на заборный столб. Ворон недолго переступал, устраиваясь, потом застыл и отмер взглядом на Ефиме.

Ефим разомкнул обветренные до берестяной сухости губы. Хотел сказать «кар!», но, скрипнув связками, лишь выпустил очередную порцию парного дыхания. В редкие минуты, когда никто не видел, он валял дурака, изображая из себя гласого. Ненадолго забывал о том, что не только глух, но и нем. По тому, как дёрнулся клюв на фоне заката, стало ясно, что ворон понял его без слов.

Прислонив топор к чурбану, Ефим закурил. Вокруг в сгущавшейся темноте светилось окружье свежего разруба, уголёк сигареты был его центром. Ефим оцепенел от макушки до пяток и, внезапно продрогши, боялся шевельнуться. Он осознал себя осью. Стал недвижим, как и ворон. Только приподнял взгляд на смольное небо, почувствовав, что прямо сейчас, пока он ненадолго ось, за ним оттуда наблюдают.

Рот невольно приоткрылся, приветствуя незримый взгляд. За сигаретным дымом было не разобрать, как именно выглядело это приветствие, как смыкались и размыкались сухие губы, но судя по довольной ухмылке Ефима — общий язык был найден.

Притоптав окурок, принялся выпутываться из круга. Расходящейся спиралью сгребал поленья и сносил в дровни на фасаде Семёновского особняка. Здесь было не так темно, как на задворках. На обшитой лазурным сайдингом стене празднично светились стеклопакеты. Ефим, ссутулившись, ходил под окнами, а наблюдало за ним уже не небо, а из-под конька крыши тарелка спутниковой антенны — циклопическое око дома.

Пока был занят делом — избегал смотреть в окна. Хотя при своём почти под два метра росте вполне доставал глазами. Работа оттягивала этот неприятный ему момент, была оправданием, как и почти для всего в жизни. Но, с читаемой в походке досадой снеся последнюю охапку, он в окна-таки заглянул.

Большая комната как на ладони. Будто телевизор смотришь. Как и в телевизоре — всё, что открывалось за пластиком рамы, казалось нереальным, из какой-то другой жизни.

Дом принадлежал столичному художнику Семёнову, и комната одновременно была его мастерской.

Поначалу Ефиму показалось, что там уйма народу. Но это всё гипсовые истуканы, да силуэты с картин, которыми были завешены все стены до потолка. На самом деле в комнате находились только двое. Семёнов и жена Ефима, Кирочка. Художник в очередной раз вызвался её рисовать.

Тулово Семёнова, обтянутое белым пушистым свитером, плавало в море света. Он был похож на старого грузного сома в аквариуме. Когда Ефим посмотрел в окно, тот как раз подплыл к Кире, обряженной в греческую хламиду, и оправил ей чёлку. Кирочка была молода и красива, но глядя на неё сейчас, Ефим едва ли не отшатнулся.

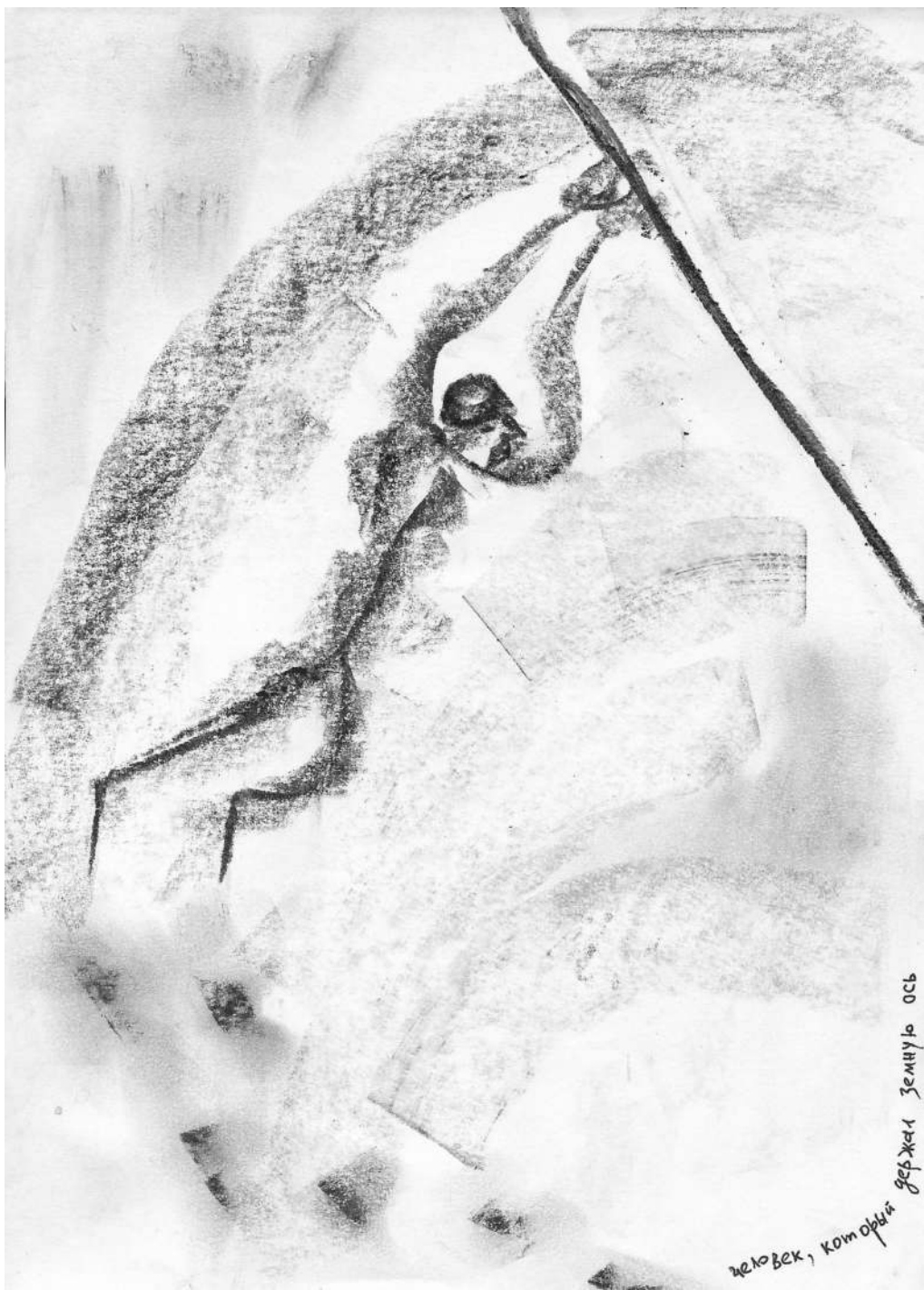
В морозе запотевшего стекла лицо её медленно оплывало воском. А под нависшей рукой художника, черты любимой набрякли тяжестью, обтаивая. В бесформенной складчатой тряпке она тоже становилась похожа на полуживую рыбину. Семёнов и Кира одновременно повернулись к окну и воззрились на Ефима масляными глазами. Он бы не удивился, если бы из их ртов к потолку медленно всплыли пузыри воздуха.

Избавляясь от наваждения, тряхнул головой и вошёл в дом. Свалил дрова на печной поддон, присев на корточки. Долго привыкал к тесным густым запахам. На улице было студёно, пахло нездешними, еще не прижившимися холодными северными ветрами. Здесь же настаивался дух ветшающих полотен, растворителя и пожилого хозяина дома.

Художник и Кирочка восстановили меж собой приличествующее расстояние. Ефим кратко на них глянул, открывая заслонку. Жена была вновь прекрасна, но как будто чем-то недовольна. Улыбнулась одними уголками губ. «Должно быть устала, милая. Попробуй из вечера в вечер посидеть в неподвижку», — с надеждой подумал Ефим. Он не хотел связывать недовольство Киры со своим появлением.

Семёнов же тщательно артикулировал: «Здрав-ству-й Е-фи-м-м». Делал он это нарочито медленно. Ему казалось, что именно так следует общаться с глухонемыми, что Ефиму так легче будет читать по губам. Эффект был обратным. Художник походил на задыхающегося тюленя. Только контекст позволил Ефиму догадаться, что тот просто поздоровался. Он кивнул, отвернувшись к печи.

Одинокое поленце догорало, кратко вспыхивая оранжевыми языками. Видать, не до того хозяину дома. Ефим кочергой разбил его и выстлал равномерный угольный подстил. Закинул свежих дров. Почистил зольник. Приоткрыл подду-



Человек, коммюнист
Герман Земнуло ося

вало. Он не слышал, как подкинутые поленья с треском занялись, но когда снова открыл забрало, ожившая утроба печки согрела душу. Так бы и любовался, не почувствуя тяжести на плече.

Обернулся. Тяжестью была рука художника. Пухлая, с холёной кожей и мясистыми короткими пальцами без единой мозоли. Даже пятен от краски не заметить, точно Семёнов работал в перчатках. Рука ощутимо поддавливала на вилку ключицы. Ефим посмотрел на художника. Тот дружелюбно мотнул головой, зовя к ужину. С сожалением прикрыв заслонку, Ефим поплёлся следом.

Кирочка переодевалась в углу комнаты. Неудачно они как-то так расположились, что Ефим оказался к ней спиной, а Семёнов наоборот. Ефим смотрел на художника, вальяжно развалившегося в хозяйском кресле напротив, а тот смотрел за его спину.

Семёнов несколько не стеснялся своего взгляда, уже давно дав понять, что он-де, как доктор, и нет ничего страшного в том, что он засматривается на Ефимову жену — профессиональное. Ефим вот по хозяйству его хлопочет, дом минувшим летом отстраивал с мужичьём деревенским. У него такая работа. А у него, художника, такая.

За шкафной дверцей жену было невидно, если бы не зеркало напротив. Но оно вроде как не принималось в расчёт, хотя о зеркале, в котором жена отражалась в полный рост, знали все находящиеся в комнате.

Кирочка присоединилась к ним за столом. Избавившись от помпезных драпировок художника, в неброской кофте и ватных штанах, она обрела привычный Ефиму вид. Стала домашней и уютной. Только опять вроде чем-то недовольна. Ефим накрыл её нервно подрагивающую изящную кисть своей мозолистой ладонью. Жена откликнулась, огладив его растрепавшиеся после шапки волосы. Но вскоре выскользнула, принявшись хлопотать с ужином.

Стол был обильно заставлен. Семёнов любил подолгу и обстоятельно трапезничать. Если не рисовал, то обязательно находился за столом. Сейчас, в центре его, на большом блюде парила варёная в мундирах картошка, ушица в котелке, а в плошках поменьше — соленья, грибы, маринады, стащенные ото всех деревенских бабок. Художник активно у них столовался. Конечно за плату, которую, впрочем, те брали неохотно, стесняясь и через раз.

Из-под стола Семёнов вытащил запылённую початую бутылку водки. Другого Ефим не пил, да и эту бутылку уже который вечер не мог приговорить. Художник же с Кирой угощались вином из высоких фужеров, которые всякий раз торжественно вынимались женой из серванта, а затем, по окончании трапезы, намытые и обтёртые, тем же церемониалом ставились обратно. По первости Ефим еще чокался с ними щербатым своим гранёным стаканюгой, но вскоре перестал. Неуместно как-то. К тому же прикладывались они чаще — вино ведь, а он замахивал изредка, незаметно и почти не закусывал.

Ужин в разгаре. Двое — те, что могут говорить и слышать — активно этим пользуются. Тёплая оживлённая беседа прерывалась лишь на освоение художни-

ком съестных пространств. Кира — малоежка, но с вином не отстаёт от хозяина дома. Тот вкушает примечательно, на загляденье. Невольно засмотришься, как он сноровисто перелаживает хребты судачкам, отловленным накануне Ефимом. Но и здесь проявляется особая черта художника — всё делать будто в перчатках. Хищное поглощение яств не пятнает его рук, не порошит бороды. Только щёки гуще наливаются здоровым румянцем и блестят, лоснясь. Еще и потому Ефим в его присутствии не усердствует с закусью. Сам-то с детства неряха. Вроде и не съест ничего, а весь свиной вывозится.

Чуть отстранившись от стола, озирается. Смотрит на картины. На них — все знакомые лица. Художник годами сезонно наезжает и многих успел «пригвоздить». Деревенские, вроде бы, занимаются своеобычными делами. Кто сеть плетёт, кто веретено крутит, кто в канаве у сельпо валяется. Только все обязательно в античные тряпки обряжены. Фишка у Семёнова такая. На его полотнах самый распоследний забулдыга или местная дурнина-кликуша выглядят карикатурой на древние века. Ефиму всё это странно. Народ в округе разный, полно шельмы и тех, с кем в разведку можно, но все они полнокровные, живые. Семёнов же их обращает в ряженных юродивых. В этом их преображении посконный облик, на контрасте, смотрится паскудно, как если бы на кряжистую рабочую кобылу нахлобучили рюшей с помпонами. Ефим смутно догадывается, что галерея эта — одна сплошная насмешка. Но насмешка того рода, за которую простецким счётом не предъявишь — тонкий лёд, скользко.

Самому Ефиму до последнего удаётся отмахаться от попадания на стенку. Очередная же картина с Кирочкой скоро повиснет на одной из них. Готово уже местечко. Его жену Семёнов рисует чаще остальных и с продолжительной вящей тщательностью, будто нарочно затягивая с процессом. Да ещё и исключительно в своей мастерской, а не в «поле», как остальных простаков.

Ефим по губам старается понять, о чём ведут беседу жена с художником. Сложно. Надо перегнувшись через стол телепаться маятником, чтобы всё уловить, так как они редко к нему вертаются. Наверно всё о высоких материях. Кирочке этого не достаёт. Учительница младших классов, она белая ворона в деревне. Когда несколько лет назад прибыла распределением, то долго особняком жила. С Ефимом только сошлась. Помогал с обустройством и потом не бросил городскую красу белоручку. Отвадил местных забулдыг от забора. Примирил с деревенским бытом.

Дальнейшее их схождение до сих пор и для него загадка. Он хоть и недурён собой, но ей неровня. Какое там. Белая кость и берёзовая чурка. Должно быть, всё дело в том, что он был единственным, кого она по приезду не испугалась. По природной неполноценности — тихий и трудолюбивый дылда.

Тогда Ефим впервые в жизни порадовался своему недугу. Умей он говорить, то, как пить дать, сморозил бы какую-нибудь глупость или грубость.

От усталости и сонной дозы Ефим разомлел, начиная клевать носом. Когда жена его растолкала, то стол уже был прибран к чаю, а художник курил трубку,

выпуская клубы сладковатого дыма, да прихлёбывая чаёк с морошковым вареньем. Ефим и сам по табаку соскучился, но своё в доме не закуривал. У Семёнова была аллергия на его папиросы.

Кирочка вернулась с помытыми фужерами и с нарочитой медлительностью возвращала их в сервант. Ей явно не хотелось уходить. Но Ефим взял дело в свои руки, поднявшись и кратким мыканьем подав жене знак. И так уже засиделись. Каждый вечер засиживаются, а гостеприимство Семёнова начинает тяготить нелюбимого Ефима, обременяя непонятной ему обязанностью.

Ефим стоял в прихожей, ожидая пока Кира напоследок наболтается. Дергал её пуховичок наизготовку. Всё еще сонный, не заметил, как Семёнов ловко выхватил одежду из рук и бережно накинуд на плечики жены. Напоследок ещё и чёлочку ей вновь оправил, под шапку подоткнув. Вот она ему покоя не даёт, чёлка её. Станный народ — художники, и что бы ни говорил Семёнов, доктора он Ефиму совсем не напоминал.

Наконец, протершись до затрева, вышли со двора. Ворон так и дежурил на заборе, и потому как жена пугливо отшатнулась, видимо закаркал. Ефим беззвучно засмеялся, чем вновь разозлил Кирочку. Всю дорогу она и слова не проронила. Ну да в темноте бы он всё равно ничего не высмотрел, не понял. Недовольство распознал лишь по тому, как рука её в кулаке качалась оглоблей, точно неживая.

Сам же Ефим надёгой смотрел на небо. Он всё ждал выпада первого снега, так как обычно по нему художник закрывал дом и возвращался в город. Странности в поведении жены Ефим прозорливо увязывал с нынешней его задержкой.

Когда пришло время укладываться, Кира, удивительно Ефиму, оттаяла, да ещё как. Сама на ласку напросилась, проявив непривычное рвение. Скоренько погасила свет и торопливо устремила нерасторопного мужа, задавая пыл.

В лунном свете запрокинутая голова её металась по подушке, словно она от чего-то отнекивалась, чему-то давала отказ. Ефим даже несколько замедлился от непонятной ему эмоции. Происходящее между ними на отказ не походило, а ближе и быть невозможно. Его заминка ещё сильнее распалила Кирочку и, напряжившись бёдрами, она часто задышала, а рот произвёл крик. Это Ефим понял по судорожной волне, что калёным прутом её выгнула, по напряжению связок. Крик жены кисло пах вином художника. Замерев, она раскрыла шальные глаза и отчётливо произнесла: «Представляешь... Семёнов-то к нам... насовсем переезжает!»

Ефим, будучи и сам на подступах к разрешению ласк, мгновенно забыл о насущном. Выпутавшись из женской хватки, отлёг на сторону. Кира, придвинувшись, спросила: «Ты всё, милый?» Он задумчиво кивнул. Довольная, она побежала умываться.

Ефим с детства любил ночь. Чувствовал особую с ней близость. Когда день, который он никогда не слышал, клонился к закату, то сама собой пропадала нужда заглядывать людям в рот, выписывать пальцами загогулины в попытке быть понятым. Днём Ефим ощущал себя незванным гостем на чужом празднике. Ночь же — другое дело: ни гостей, ни праздника.

Ефим смотрел на мирно посапывающую жену. Её дыхание передавалось ему, как и мерный ход часов на стене. Ходики появились одновременно с Кирой. До неё в просеивании времени не было особого смысла. Когда он жил один, то и дом его был нем. Ефим тогда не понимал, насколько и жизнь его, до Кирочки, была недужна и глуха.

Аккуратно переложив ручку милой — всегда на него закидывает, будто во сне тянется к чему-то, — выскользнул из постели. Холодный пол мигом взбудрил, подстегнув шаг. Если бы Ефим прямо сейчас ещё и ослеп, то это едва ли бы его замедлило. Мало чего у него было на земле, и ориентироваться в этой скудости и ослепу не составило бы труда.

Он вышел на двор, аккуратно прикрыв за собой. Ухмыльнулся. Навряд ли его назовёшь сведущим в умении вести себя тихо. Не знает Ефим, какого рода шум производит его существование. Оставалось надеяться, что сон Кирочки не потревожен, и он обернётся незамеченным.

К дому Семёнова можно было с лёгкостью выйти по центральной дороге, полого спускающейся к озеру. Особняк возвышался на её оконечности. Раньше никому и в голову не приходило отстраиваться на берегу. Да и запрещено. Общее пространство как-никак. Там пляж, водозабор пожарный. Но художник как-то умудрился добиться необходимых разрешений, заручиться бумажками. А рында с заброшенного водозабора теперь висела в его мастерской. Он ей отбивал обеденное время. Вся округа могла слышать, как Семёнов приступает к трапезе.

Но большаком Ефим не пошел. Луна той ночью была полнокровна и хорошо освещала грунтовку. Известными ему околицами, задворками торил себе путь. Всполюшил пару деревенских пусталяк, но они что дождь по карнизу, всем давно привычный фон.

Забор округ Семёновского дома почти возведён. Одной секции не хватало, чтобы огородить особняк высокой металлической стеной. Ефим как раз собирался этим заняться по ожидаемому им, но так и не случившемуся отъезду художника. В эти ворота он и вошёл, улыбнувшись всё ещё постыгаемому на столбе ворону. Тот, завидев его, переступил с ноги на ногу, но шума не поднял.

Ефим прокрался к времянке с рабочим инвентарём. Выволок канистру. Машины у Семёнова не было. Его привозили и увозили. Бензин он закупал для генератора. Перебои с электричеством были не редки в их захолустье.

Ефим обошёл дом, обильно кропя стены, окна. Вернувшись к сараю, прихватил шпагат и надёжно подвязал двери. Крепкая вервь прогорит, но не сразу. Ровно настолько обяжет, чтобы никто не вышел, а затем и следов не осталось. Ефиму его выдумь понравилась. Подивился сам себе, как это он ловко так сообразил, будто не впервой или подсказал кто. За окна тоже можно не волноваться. Семёнов опасался воров, и по его указке Ефим к зиме наварил снаружи витой чугунины, открывались только пара форточек.

Выйдя на фасад, посмотрел на печную трубу. Едва заметный дымок. «Корчит из себя умного, а подкинуть перед сном — не догадаться. Околет же за ночь» —

подумал Ефим, но сознав всю глупость этих невольных мыслей, вновь улыбнулся, тряхнув головой.

Прикурил, тревожно замерев, будто на вокзале в ожидании отправки. Пока добирался сюда, пока обдумывал, что будет делать, а главное — саму необходимость этого делания, то как-то не подготовился к решающему моменту и сейчас растерялся.

Своим умом дошедший до всяких мастеровых премудростей, умеющий сотворить руками всё необходимое для выживания в деревне, Ефим прекрасно знал, что ко всякому делу свой подход. Но вот какой подход к тому, чтобы... сжечь человека? Умей Ефим говорить, то может сказал бы чего сердечного на добрый путь. Ну не присядкой же, ей-богу, под луной ходить.

Еще он ждал какого-то особого прилива сил, как бывает перед тяжёлой, но неизбежной работой. Но и его не чувствовал. Отрешённо потеряв щеку, просто бросил окурок в змеёй вьющийся топливный след.

В ночной тиши, даже для обладающего слухом мира, возгорание не прозвучало как-то особо. Пламени просто не было и вот оно уже объяло весь дом. Взшло немым солнцем из-под земли. Ефим случайным жестом перекрестился. С ним и на отпеваниях так — пять сама кресты выводит.

Посмотрел в озарённое небо, особо не рассчитывая на ответный взгляд. Знал, что осью он быть перестал, и больше на него оттуда никто и никогда не посмотрит. Ось прогорала в нескольких шагах от Ефима, а он стоял за её освещённой границей. Досадно...

Но ещё вспомнил, что сейчас вместе с Семёновским особняком, с ним самим, сгорают и малёванные болваны на картинах, в которых он превратил всю деревню, жену его любимую, и не далёк час и его бы настиг увечащей кистью.

Выходя со двора, оставляя пожарище за спиной, Ефим не слышал блажи ворона, отлетавшего к чёрной стене леса. Не мог слышать и звонкого боя рынды в полыхающем особняке. Ефим был глухонемым, и для него всё по-прежнему оставалось в тишине.

В тишине он вернулся домой. В тишине покурил на крыльце, ухмыляясь первому снегу, зачавтившему вихрастым пеплом. В тишине разделся и лёг подле жены. Кирочка, поёрзав, закинула на него ручку, будто к чему-то потянувшись в полной тишине.



... НАЧДО ЗКНЫ...